

## РОЛЬ «ИСТОРИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ» В ФОРМИРОВАНИИ РОССИЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ\*

*Автор рассматривает некоторые особенности «исторической политики» современного российского государства, отмечая, в частности, ее реактивный характер и контрпродуктивность как в формировании национальной идентичности, так и в процессе «противодействия» фальсификациям истории. В результате он приходит к выводу о том, что вместо позитивной программы формирования национальной идентичности, поиска компромисса в интерпретации сложных и трагических эпизодов совместной истории, признания общей ответственности за них или их совместного «забывания» политические и интеллектуальные элиты России и большинства постсоветских государств, наоборот, делают все для их актуализации и политизации, а созданный вновь или возрожденный «образ врага» активно используется как ресурс внешней и внутренней политики и средство политической консолидации наций на негативной основе. В то же время в статье отмечается, что в современной России «коллективное прошлое» скорее является объектом ситуативного «использования», нежели «сырьем» для проведения целенаправленной и методичной исторической политики. Представители политической элиты, выступающие от имени российского государства, предпочитают не касаться проблем «трудного прошлого» и стремятся, насколько возможно, избежать определенности в оценках исторических событий, процессов и фигур, которые неоднозначно воспринимаются в нашем обществе. Следствиями такой исторической политики являются ограниченность репертуара «политически пригодного» прошлого и использование ее исключительно для легитимации текущих решений и действий власти. Констатируется, что даже более чем через двадцать лет после распада СССР элитам России так и не удалось сформировать концепцию отечественной истории, принятую большинством россиян и отвечающую задачам формирования ее новой национальной идентичности. При этом*

---

\* Под «исторической политикой» в статье понимается сознательное и целенаправленное использование истории как инструмента политической борьбы. «Исторической политике» противопоставляется «политика памяти», определяемая как совокупность действий, направленных на формирование и воспроизводство идентичностей, в первую очередь, национальной идентичности.

Ачкасов Валерий Алексеевич — доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой международных политических процессов факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета (val-achkasov@yandex.ru)

Achkasov Valery — Doctor of Political Sciences, Professor, Head of the Department of International Political Processes, Faculty of Political Science, St. Petersburg State University (val-achkasov@yandex.ru)

*речь должна идти не об отказе от «политики памяти» в современной России, поскольку это невозможно практически, а об отказе от рецидивов «исторической политики», т. е. использования истории как инструмента политической борьбы и достижения политических целей.*

**Ключевые слова:** *национальная идентичность, историческая политика, легитимность, национальный нарратив, политические элиты.*

Понятия «исторической памяти» и «идентичности» неотделимы друг от друга, между ними существуют отношения тесной взаимосвязи и взаимозависимости, поскольку сохранение памяти — важнейшее условие самоопределения индивидов и укрепления единства социальных групп. Подчеркивая это обстоятельство, Я. Ассман и определяет «идентичность» как «политическое воображение», обусловленное «культурной памятью» (Ассман 2004: 15). Идентичность — как этническая, так и национальная, укоренены в исторической памяти, а идентификация — одна из основных (наряду с легитимацией) функций коллективной исторической памяти. Поэтому манипуляции с исторической памятью в политических целях, что представляет суть исторической политики, являются одновременно и манипуляциями с групповой идентичностью. Можно уверенно утверждать, что в постсоветских государствах именно историческая память выполняет своего рода «защитную» функцию, призванную не только сохранять позитивную этническую идентичность на групповом уровне, но и способствовать формированию национального самосознания. Однако «в бывшей советской империи отношения с собственной историей остаются не проясненными, в них слишком часто угрожающе вмешивается политическая повестка дня», — замечает итальянский журналист Дж. Д’Амато (Д’Амато 2013: 76). Это, как представляется, стало одним из побудительных мотивов к активному использованию исторической политики. Причем как во внутригосударственных, так и в международных отношениях, историческая политика стала инструментом, к которому правительства прибегают для того, чтобы создать не только позитивный образ власти и государства, которым они управляют, но и образы страны / стран-конкурентов и политических противников, как правило, негативные. «Нынешние коммуникативные сбои в политическом процессе на постсоветском пространстве в значительной степени предопределены недостаточной структурированностью политических ожиданий и наличием “провалов в социальной памяти”, архаизацией при темпоральной организации событийных рядов политики из “настоящего” в “прошлое” и “будущее”, — отмечает К.Ф. Завершинский. — Это неизбежно порождает войну “политик памяти”, не прекращающуюся два десятилетия как внутри коммуникативных пространств новых государств, так и между ними» (Завершинский 2012: 162).

Действительно, крах коммунистической системы и рождение на постсоветском пространстве новых независимых государств привели к появлению новых национальных историй, в которых они заявили свои права на значительную часть русской истории и на новую (зачастую диаметрально противоположную) интерпретацию многих исторических событий (особенно XX в.). При этом

в национальных историях акцентируется «коренное отличие» каждой данной общности от всех остальных (прежде всего от русских), для того чтобы отвести любые сомнения в легитимности данной формирующейся нации, в ее праве на существование. Ради чего активно изыскиваются глубокие исторические корни «нации», теряющиеся в глубине веков, и создается образ «негативно значимого Другого». Все это делается во имя «возвращения утраченного прошлого», обретения его заново. При этом, как отмечал еще А.С. Панарин, «...возвращая прошлое, в нем ищут не социально освобождающее средство душ и судеб разных этносов, а национально освобождающие различия между ними. Прошлое облекают в подчеркнута национальные одежды. Но изготовлены они по наброскам современных дизайнеров; в подлинном прошлом их вряд ли носили. Насколько сейчас вообще можно судить, одежды предков в лучшем случае лишь более или менее приближались к этим анахроническим поделкам конца XX века» (Панарин 1994: 35). Нетрудно заметить, что эти дебаты о новой, «правильной» интерпретации прошлого являются на самом деле борьбой за символическую власть; кроме того, везде на постсоветском пространстве действует политическая установка на формирование культурно гомогенных этнонаций, которая во многом задает смысл и направленность исторических интерпретаций. Однако «выдвигая притязания на восстановление поруганной аутентичности, постсоветские государства всего лишь играют по тем правилам, которые задаются “глобальным сообществом” [национальных государств — В. А.]. Их национализм есть не что иное, как подчинение транснациональным политическим императивам. Поэтому, — считает В.С. Малахов, — вряд ли стоит впадать в другую крайность и пытаться дезавуировать их стремление к суверенности (культурной, в том числе) ... культурный империализм — столь же проигранный позиция, сколь и культурный национализм. Национализм выпячивает различия. Империализм их не замечает. Национализм от лица малых культур излишне усердствует по части суверенности (автономности, независимости, аутентичности). Империализм — а по сути, национализм от лица Большой культуры — отказывает малым культурам в каком-либо признании» (Малахов 2014: 26).

В результате радикальная ревизия общей истории, осуществленная новыми суверенными народами, породила в постсоветской России феномен «утраченного прошлого». В сознании русских глубоко укоренен имперский синдром — синдром «старшего брата», и потому стремительное превращение «братских народов СССР» в претендующих на значимость «Других» вызвали шок и обиду на неблагодарных «младших братьев», прежде всего, за дегероизацию и дискредитацию недавнего общего прошлого, особенно за попытки разрушения основного «мифа происхождения» постсоветской России — «мифа Великой Отечественной войны».\* Не случайно в свое время Нина Тумаркин назвала память

---

\* Акцентируя исключительную роль «мифа о войне», Н. Копосов пишет: «Новый режим [режим В.В. Путина — В. А.] искал опору в национальной традиции. Но он претендовал на то, чтобы считаться демократическим, и поэтому не мог однозначно положительно оценивать террор и коммунистическое мессианство. ...

о Великой Отечественной войне «советской гражданской религией». Ныне эта «гражданская религия» превратилась в российскую. Социологические опросы по поводу исторических событий, вызывающих чувство гордости у россиян, показывают, что «в советской истории с заметным отрывом лидирует Великая Отечественная война и ее отдельные эпизоды, в частности Сталинградская и Курская битва, взятие Берлина, снятие блокады Ленинграда и т. п.». Великую Отечественную войну или ее отдельные события как вызывающие у них чувство гордости назвала почти половина опрошенных в конце 2011 г. петербуржцев, — при фактическом отказе новейшей истории России в праве формировать чувство национальной гордости.\* Как констатирует С. Каспэ: «Война — центр проблемы “советского”; но главное, что “советское” — центр проблемы “российского”. В этой точке сходятся все» (Каспэ 2012: 132).

Конечно, власти всех постсоветских стран были заинтересованы не только в разоблачении «советского тоталитаризма» и «русского империализма», но и в конструировании «подходящего образа далеких предков» (В. Шнирельман). Так, например, «предки-земледельцы ценились выше, чем предки-кочевники. Действительно, следы деятельности первых обнаружить легче, их культурные памятники маркируют строго ограниченную территорию, которая считается по праву принадлежащей их потомкам и легитимирует “национальное государство”. Кроме того, предки, веками отстаивавшие свою территорию и суверенитет, ценятся выше, чем предки завоеватели, разрушавшие построенное другими народами. Хотя зачастую исключение делается для тех предков-завоевателей, которые осуществляли “цивилизаторскую миссию”. Также немаловажно, кого именно выбирают в предки. В этом отношении показателен образ “арийцев”, которые наделяются высокими креативными способностями и предстают создателями культурных достижений мирового значения» (Шнирельман 2010: 217). Борьба за подходящую древнюю историю и исторических предков имеет одно немаловажное следствие: «Официальная националистическая история (в ее конкретных размножившихся версиях — русская, украинская, татарская, грузинская, армянская, узбекская, казахская, туркменская и т. д.) — ... стала одним из мощных институтов упрочения примордиалистских взглядов на этничность — повествует о древних корнях, изначальности и извечности этнической идентичности, привязывая ее происхождение то к древней государственности, то к складыванию общего национального языка, или отсылая к метафоре общности исторических судеб. Взаимная работа всех воспроизводящих

---

Поэтому и понадобился миф о войне, который позволял сконструировать трагическое, но славное и вдобавок осязаемое, конкретное, легко представляемое в ярких образах прошлое.

Миф о войне стал *настоящим мифом происхождения* [выделено мною — В. А.] постсоветской России. Его подъем наметился уже с первых месяцев правления Путина, а настоящий взлет пришелся на 2004–2005 годы — период подготовки к 60-летию победы» (Копосов 2011: 162–163).

\* Только 4,1 % респондентов назвали события современной российской истории как вызывающие у них чувство гордости (Сикевич 2012: 93–96).

этот взгляд институтов и практик повседневно укрепляет и поддерживает эту идеологию, мешая разглядеть подробности ее функционирования и детали производства сообщества, определяемого по набору языково-культурных признаков», — отмечает С.В. Соколовский (Соколовский 2004: 50–51). Действительно, людям, прожившим всю сознательную жизнь с чувством принадлежности к некоему извечно существовавшему этническому сообществу, особенно к так называемому титульному этносу, трудно представить себе, что может быть как-то иначе.

Важно также отметить, что эти претензии на «удревнение» истории новых государств и «заимствования чужих предков» еще недавно не вызывали сколь-нибудь заметного протеста в России. Так, претензии украинских интеллектуальных элит на монопольное владение «всем наследием Киевской Руси» вызывали ранее лишь иронические комментарии российских историков. Однако радикально новая интерпретация советской истории, особенно истории Второй мировой войны, породила активный протест и в конце концов вызвала ответную реакцию — стремление защитить собственную национальную историю «от очернительства», «посягательств» и «фальсификаций», «дать отпор», «поставить заслон» и т. д. «Показательно, — отмечает Д.В. Ефременко, — что российская власть и при Ельцине, и при Путине очень долго не решалась подступить к этой задаче. Споры об истории были частью общественной дискуссии, но на уровне официальной риторики подавались (и подаются до сих пор) довольно противоречивые сигналы. Однако в последнее время, главным образом, в связи с системными усилиями “заклятых друзей России” из Балто-Черноморского региона по конструированию желательной для них версии исторического прошлого российская власть стала втягиваться в “историческую политику”. И, похоже, всерьез и надолго» (Ефременко 2010: 73). Действительно, особенно с начала 2000-х гг. «Россия стремится сохранить героически-победный нарратив великой державы ... Однако ... это делает страну объектом подозрений в новом империализме» (Васильев 2012: 56, 57). В результате Европа и наши ближайшие соседи не воспринимают Россию как действительно постсоветское, постимперское национальное государство. Как точно отметил С. Кортунув, Европа относится к нам «не как к России, а как к уменьшенному, ослабленному и потому озлобленному СССР, ядру “империи советского зла”» (Кортунув 2009: 53).

В связи с этим вряд ли можно согласиться с утверждением о том, что важнейшей причиной актуализации исторической политики и войн памяти в посткоммунистических странах Центральной и Восточной Европы «послужила новая историческая политика российского правительства, состоящая в культивировании мифа о войне» (Копосов 2011: 263). Историческая политика в современной России носит ярко выраженный реактивный характер. Музеи советской оккупации и институты национальной памяти как «инфраструктуры ее политизации» появились не в России, а в Польше, странах Балтии и Украине.

Тем не менее, назвать адекватной реакцию российской политической и интеллектуальной элиты на проблемы, порожденные исторической политикой «соседей», было бы большим преувеличением. «В современной России, — кон-

стативирует А.Б. Гофман, — ситуация с традициями и инновациями, их взаимодействием, отношением к ним со стороны интеллектуалов и власти отличается чрезвычайной неопределенностью, многозначностью, амбивалентностью, синкретизмом» (Гофман 2008: 50). Основная сложность здесь состоит в том, что современная Россия — это не страна без традиций, а скорее страна с сохранившимися осколками множества традиций. Поэтому «популярность различных форм традиционализма, апелляция к ним в сегодняшней России чаще всего означают реальную слабость традиций, традиционных начал в обществе, попытку таким образом компенсировать эту слабость» (Гофман 2010: 247). В связи с этим любое обращение российской власти и ее оппонентов к национальной традиции — это конструктивистское действие, предпринимаемое во имя обретения легитимности, что обуславливает инструментальность в отношении к прошлому. При этом руководствуются идеологической установкой на формирование связи и преемственности настоящего и будущего по отношению к идеализированному прошлому, установкой на отрицание существующих исторических разрывов и утверждение общей традиции и наследия, носителями которого все «Мы» — россияне — являемся. В результате многие исследователи отмечают внутреннюю противоречивость и эклектичность исторической концепции современной российской власти, в которой этатизм и национализм причудливо сочетаются с элементами либерализма, а реставрационный пафос — с идеей модернизации (Калинин 2010; Платт 2010).

С одной стороны, действительно необходимо реагировать на политизацию и дегероизацию общей истории народов СССР, разрушение доминирующего исторического мифа, использование новых исторических интерпретаций прошлого как политического ресурса. Хотя следует заметить, что наша национальная история — в особенности советский период — «представляет собой настоящее минное поле, поскольку не существует общенационального консенсуса в отношении того, как интерпретировать большую часть ключевых событий, начиная с трагедии революции 1917 г. и заканчивая фарсом августовского путча 1991 г.» (Торбаков 2012: 96). Более того, в нашей истории постыдных, сомнительных, а то и «мешающих» сегодня фактов, суждений и оценок с каждым годом обнаруживается все больше. Так, россияне с большим трудом свыкаются с новыми интерпретациями предыстории и истории Второй мировой войны, появившимися в 1990-е гг. не только в профессиональных исторических изданиях, но и в школьных учебниках, с разрушением мифов о принципиальной правоте сталинской внешней политики СССР в предвоенный, военный и послевоенный периоды, о моральной непогрешимости солдат Красной Армии и др. Это имеет сегодня и тревожные практические следствия. Как отмечают социологи, «можно констатировать, что историческая память [русских — В. А.] внутренне противоречива и подвержена временной динамике, причем неблагоприятной для существующей российской власти» (Сикевич 2012: 103). Кроме того, доля российских граждан, идентифицирующих себя как патриотов России, по сравнению с началом 2000-х гг. уменьшилась с 77 до 69 %. Не ощущают себя патриотами 19 % респондентов — каждый пятый. Ввиду того, что под патриотизмом чаще всего понимается «любить свою страну» (59 % отве-

тов), полученные цифры означают, что каждый пятый россиянин признается в нелюбви к современной России (Тагаева 2013). Вызывает серьезную озабоченность и фиксируемое социологическими опросами первое место Сталина среди исторических фигур, вызывающих чувство гордости у респондентов. Более того, дополнительный анализ показал, — отмечает социолог З. Сикевич, — что в числе сторонников этой исторической фигуры [в Санкт-Петербурге — В. А.] почти три четверти (71,2 %) молодых людей (возрастная группа 18-29 лет) как со средним, так и с незаконченным высшим образованием. Важно также отметить, что в социологическом исследовании 2005 г., проведенном тем же коллективом социологов, Сталин ни у кого из респондентов не вызывал положительных эмоций, напротив, у каждого третьего участника опроса (32,5 %) он вызывал исключительно негативные эмоции, занимая 2 место в ряду отвержений после Б. Ельцина (Сикевич 2012: 100–101). Это может свидетельствовать о том, что многими молодыми россиянами фигура Сталина воспринимается как альтернатива современной российской власти, тем более что усилия по десталинизации российского общества всегда носили непоследовательный, «кампанейский» характер, а сегодня и вовсе свернуты.

В то же время проявленная российской властью решимость вступить на путь борьбы с фальсификациями истории означала готовность ввязаться в затяжную информационную войну с многими нашими «соседями». Попытки принятия «мемориального закона», запрещающего отрицать ведущую роль СССР в победе над фашизмом, создание в мае 2009 г. Указом № 549 Президента РФ Д.А. Медведева специальной государственной «Комиссии при Президенте РФ по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России» и другие меры означали, что наша политическая элита приняла те «правила игры», по которым осуществляется «историческая политика» в посткоммунистических странах Центральной и Восточной Европы. Теперь и у нас история и национальная память признаны ареной ожесточенной политической борьбы с внешним и внутренним противником, а наше «непредсказуемое» прошлое оказывается идеологическим ресурсом и потому за него тоже борются. Особенно обострилась эта «война памяти» в связи с нынешними событиями на Украине. При этом, как считает И. Калинин: «Власть, повинувшись привычной ей логике борьбы за природные ресурсы, ... видит в прошлом именно ограниченный ресурс, за обладание которым, следовательно, необходимо активно и жестко бороться» (Калинин 2011). Поэтому считается, что альтернативная или конкурентная интерпретация исторических событий историками наносит урон не только патриотическому воспитанию нового поколения, но и безопасности государства (с этим связаны разработка в 2013 г. по поручению и при активном участии власти единой концепции российской истории и заказа на единый учебник истории России и т. д.). Отсюда, похоже, уже сделан вывод: история слишком политически важна, чтобы оставить ее на откуп профессиональным историкам (видимо, не случайно в президентскую комиссию наряду с профессиональными историками были включены начальник Генерального штаба Вооруженных сил России и высшие офицеры внутренних и внешних служб безопасности страны). Следствием является формирование «госзаказа»

на единственно истинную и патриотическую версию истории, которая негласно навязывается обществу и, как ни странно, оказывается выгодной вполне определенным политическим силам. Так, комментируя создание Государственной комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории при Президенте Российской Федерации, иностранный наблюдатель выделил четыре основных фактора, приведших к этой инициативе:

- 1) реакция российских властей на растущую интернационализацию мемориальных практик, связанную в частности с политическим самоопределением бывших советских республик;
- 2) опасение правящих элит, что уход последнего поколения, помнящего войну, существенно ослабит механизмы трансляции одного из ключевых имперских мифов;
- 3) стремление государства вновь восстановить контроль над образованием (прежде всего школьным);
- 4) проявляющаяся в последнее время в России тенденция к ограничению свободы выражения мнений (Кегель, де, 2009).

Впрочем, в марте 2012 г. эта комиссия, так и не выполнившая возложенных на нее задач, без лишнего шума была упразднена.

Сегодня общеизвестно, что наиболее востребованным в политике памяти посткоммунистических государств является «образ трагического героя, освободившегося от ига и угнетения ценой огромных жертв и выстрадавшего свое право на свободу и демократию». Отсюда уже отмеченная, крайне негативная интерпретация практически всей истории СССР и, напротив, позитивная оценка его распада. В нашей же стране проводится политика памяти, призванная закрепить в сознании россиян распад Советского Союза как «величайшую геополитическую катастрофу XX века» (В.В. Путин). Не случайно социологические опросы фиксируют, что распад СССР вызывает наиболее чувство стыда у россиян. Так, в конце 2011 г. «у каждого пятого из числа опрошенных петербуржцев негативные эмоции вызывает именно распад СССР, причем симптоматично, что значительно чаще [респондентами — В. А.] используется оценочное понятие “развал” или “разрушение”, а не нейтральное “распад”. Примечательно также, что это событие указывается почти в равной мере представителями разных поколений, включая самых молодых, которые либо уже родились после этого события, либо в 1991 г. были совсем маленькими детьми» (Сикевич 2012: 96–97).

Действительно, на рубеже 1980–1990-х гг. российский народ не боролся за «независимость» и не хотел ее. В организованном по инициативе М. Горбачева референдуме россияне в подавляющем большинстве проголосовали за сохранение Союза. Поэтому именно распад Советского Союза, как ни одно другое историческое событие, «ущемляет национальное самосознание русского человека ... Уход республик до сих пор у многих вызывает чувство обиды и даже недоумения» (Там же: 97). Как итог, новая Россия, «...метрополия прежней империи, была единственной страной на этом [постсоветском — В. А.] пространстве, в которой посткоммунистическое развитие не воспринималось как “национальное возрождение”, а напротив, зачастую трактовалось как “национальная

катастрофа”» (Макаренко, Мельвиль 2013: 465). Это, конечно же, не может найти понимания у большинства соседей России, поскольку в национальных нарративах постсоветских государств величайшей катастрофой объявляется как раз их существование в составе СССР.

Историческая память по определению спорна и пристрастна (Т. Джадт). Поэтому, во-первых, неясно, каким образом можно вообще «противодействовать» политике другого суверенного государства, предлагающего свой вариант «национальной» истории; во-вторых, попытки навязать нашу «единственно правильную» интерпретацию тех или иных событий общей истории соседям, как, впрочем, и россиянам, очевидно контрпродуктивны. «Реакцией России на свое собственное прошлое не может ограничиваться дело. Мы имеем длительные отрезки общей истории, а значит, она не может быть чьим-то единственным, собственным достоянием, как бы этого кому-то ни хотелось», — резонно отмечает «русскоязычный» автор из Латвии (Макаров 2010: 152). Поэтому такие попытки в лучшем случае бесполезны, в худшем — ведут к обострению конфликтного противостояния (пример тому — нынешние ожесточенные информационные войны, в том числе войны памяти, Украины и России, стран Запада и России). Более того, как справедливо утверждает Пьер Нора, история принадлежит всем и никому — именно потому она и претендует на истину. Как и любое подобное притязание, ее право всегда будет оспариваться. Однако, отказавшись от этих притязаний, мы попадем в беду (Цит. по: Джадт 2011: 69).

Таким образом, вместо позитивной программы формирования национальной идентичности, вместо поиска компромисса в интерпретации сложных и трагических эпизодов совместной истории, признания общей ответственности за них или их совместного «забывания», политические и интеллектуальные элиты России и большинства постсоветских государств, наоборот, делают все для их актуализации и политизации, формируя и концептуализируя мифологемы массового сознания, придавая видимость научной обоснованности примитивным ксенофобиям и идиосинкразиям. При этом созданный вновь или возрожденный «образ врага» активно используется как ресурс внешней и внутренней политики и средство политической консолидации наций на негативной основе. Впрочем, в России «...коллективное прошлое скорее является объектом ситуативного “использования”, нежели предметом целенаправленного “конструирования”. Очевидно, что политики, выступающие от имени российского государства, предпочитают не касаться “трудного прошлого” и стремятся, насколько это возможно, избегать определенности в оценках исторических событий, процессов и фигур, которые вызывают горячие споры в обществе» (Малинова 2012: 198). Следствиями такой исторической политики является ее реактивность, ограниченность репертуара «политически пригодного» прошлого и использование исключительно для легитимации текущих решений и действий власти. В результате «спустя более чем двадцать лет после распада СССР России еще не удалось сформировать концепцию отечественной истории, отвечающую задачам конструирования ее новой коллективной идентичности» (Там же: 199).

Необходимо оговориться, что речь должна идти не об отказе от «политики памяти» в современной России, поскольку это невозможно практически, — такая политика осуществлялась и осуществляется всеми государствами мира, а об отказе от рецидивов «исторической политики», т. е. от использования истории как инструмента политической борьбы и достижения политических целей. Внимание к прошлому и выстраивание устойчивых исторических ориентиров для своих граждан является частью любой государственной политики, и все государства, как уже отмечено, предпочитают «удобное прошлое», патриотическую версию своей истории и осуществляют более или менее жесткий контроль над ее преподаванием в школе. Поэтому, как представляется, следует обсуждать вопрос: насколько конструктивно такое вмешательство политики в исторический дискурс и каковы его цели, а не вопрос, можно или нельзя использовать в политических целях национальную историю или нужно или не нужно вмешиваться государству в процесс преподавания истории. Хотя в идеале наука может развиваться только при условии, когда «университеты ничем не обязаны правительству, наоборот, правительство всем обязано университетам». Однако «наивно требовать от политиков и государственной власти, чтобы они отказались от попыток продвигать свое понимание истории, — отмечает Н. Копосов. — Но их право на использование некоторых средств такого продвижения должно быть ограничено. Таким ограничением являются автономия университетов [которая в последние годы в России была подорвана в результате проведения ряда реформ системы высшего образования — *В. А.*] и академические свободы, предполагающие право ученого свободно выражать свою точку зрения и обязанность коллег оценивать ее в соответствии с принятыми правилами исследования и нормами академической этики. Эти правила и нормы можно и должно критиковать и совершенствовать. Как и любые другие нормы, они являются формой власти (академической среды над ее членами) и ограничением свободы — в том числе и произвола интерпретаций. Но они обеспечивают автономию знания» (Копосов 2011: 267).

Как уже отмечено, переписывание истории происходит повсюду и постоянно, история давно служит политическим целям, регулярно осуществляются попытки закрепления официальной версии прошлого, в том числе и на законодательном уровне с апелляцией к коллективной памяти конформистски настроенных социальных групп как гаранту истинности официальной версии истории страны. Следовательно, историческую политику полностью упразднить невозможно. Абсолютно понятно и желание властей любой страны подкреплять свои действия историческим обоснованием, история часто используется идеологией как «служанка политики». Однако государственные интересы, артикулируемые политической элитой, порой меняются с точностью до наоборот, и историкам, ориентирующимся на власть, постоянно приходится колебаться вместе с «генеральной линией». Поэтому жизненно необходимо сформировать и институализировать среду, в которой бы допускались сомнения, дискуссии по спорным вопросам общей истории и конкурирующие интерпретации исторических событий и фактов. Согласие по ключевым проблемам истории страны — это, конечно, хорошо, однако нужно ли «бороться» за пол-

ное единомыслие? В то же время прав и американский экономист П. Катценштайн, указавший на то, что «...пока мы придерживаемся только национальной и националистической истории и пока у нас не получается соединить разные виды истории, мы остаемся пленниками прошлого. .... Ведь только общее понимание прошлого может создать основу для общего ощущения будущего» (Питер Катценштайн беседует с... 2014: 285, 284).

В свою очередь, соседям России, как представляется, стоило бы прислушаться к совету польского профессора Л. Суханека, который пишет: «...Нельзя демонизировать Россию и обижаться на нее. Нужно ее принимать такой, какая она есть, так как она не обязательно должна быть такой, как страны Запада. Они, кстати, также далеки от идеала. В отношениях с Россией ... нужно защищать свои интересы, а России свои. Наши отношения не обязательно должны быть идиллическими» (Суханек 2013: 25).

### **Литература и источники**

*Ассман Я.* Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. М.: Языки славянской культуры, 2004.

*Васильев А.Г.* Культурная память/забвение и национальная идентичность: теоретические основания анализа // Культурная память в контексте формирования национальной идентичности России в XXI веке / отв. ред. Н.А. Кочеляева. М.: Совпадение, 2012.

*Гофман А.Б.* От какого наследства мы не отказываемся? Социокультурные традиции и инновации в России на рубеже XX-XXI вв. // Традиции и инновации в современной России. Социологический анализ взаимодействия и динамики. М.: РОССПЭН, 2008.

*Гофман А.Б.* В поисках утраченной идентичности: традиции, традиционализм и национальная идентичность // Вопросы социальной теории: Научный альманах, 2010, IV. Человек в поисках идентичности/ Ин-т философии РАН; Под ред. Ю.М. Резника и М.В. Тлостановой. М.: Ассоциация «Междисциплинарное общество социальной теории», 2010. С. 241–254.

*Д'Амато Дж.* Развод по-советски. Из сверхдержавы на задворки глобализации. М.: РГГУ, 2013

*Джадт Т.* Места памяти Пьера Нора: Чьи места? Чья память? // Империя и нация в зеркале исторической памяти: Сб. статей. М.: Новое издательство, 2011. — С. 45–74.

*Ефременко Д.В.* Переизобрести Европу — переобразить Россию // МЕТОД: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин: Сб. науч. тр. М.: РАН ИНИОН, 2010. — Вып. 1: Альтернативные модели формирования наций. С. 54–78. .

*Завершинский К.Ф.* Символические структуры политики памяти // Символическая политика: Сб. науч. тр. / РАН ИНИОН. Отв. ред.: Малинова О.Ю. Вып. 1: Конструирование представлений о прошлом как властный ресурс. М.: РАН ИНИОН, 2012. С. 149–163.

*Калинин И.* Ностальгическая модернизация: советское прошлое как исторический горизонт // Неприкосновенный запас, 2010, 6 (74), с. 6–16.

*Калинин И.* Бои за историю: прошлое как ограниченный ресурс // Неприкосновенный запас, 2011, 4 (78). [<http://magazines.russ.ru/nz/2011/4/ka29.html>]. Дата доступа 21.03.2015.

*Каспэ С.* Политическая теология и nation-building: общие положения, российский случай. М.: РОССПЭН, 2012.

*Кегель И. де.* На пути к «предсказуемому» прошлому? Комментарий к созданию Комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в России // *Ab imperio*, 2009, 3, с. 365–387.

*Копосов Н.* Память строгого режима: История и политика в России. М.: Новое литературное обозрение, 2011.

*Кортунов С.* Становление национальной идентичности: какая Россия нужна миру. М.: Аспект Пресс, 2009.

*Макаренко Б., Мельвиль А.* Как и почему «зависают» демократические транзиты? Посткоммунистические уроки // *Демократия в российском зеркале. Монография / Сост. А.М. Мигранян, А. Пшеворский.* М.: Изд. МГИМО, 2013. С. 429–477.

*Макаров В.* «Бои за историю» в Латвии / *Национальные истории на постсоветском пространстве-II. Десять лет спустя / Под ред. А. Бомсдорфа, Г. Бордюгова.* М.: Фонд Фридриха Науманна, АИРО-XXI, 2010. С. 148–156.

*Малахов В.С.* Культурные различия и политические границы в эпоху глобальных миграций. М.: Новое литературное обозрение, 2014.

*Малинова О.Ю.* Политическое использование прошлого как инструмент символической политики: эволюция дискурса властвующей элиты в постсоветской России // *Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС*, 2012, 8(4), с. 179–204.

*Панарин А.С.* Национализм в СНГ: Мировоззренческие истоки // *Свободная мысль.* 1994, 5, с. 30–37.

Питер Катценштайн беседует с Раффаэле Маркетти «Понять, что существует диффузия власти и изменения происходят постоянно» // *22 идеи о том, как устроить мир: Беседы с выдающимися учеными / Под ред. П. Дуткевича и Р. Саквы.* М.: МГУ, 2014, с. 30–58.

*Платт К.М.Ф.* Ностальгия и инновация: темпоральность модернизирующейся нации // *Неприкосновенный запас*, 2010, 6 (74), с. 68–84.

*Сикевич З.* Этнические парадоксы и культурные конфликты в российском обществе. СПб.: СПбГУ, 2012.

*Соколовский С.В.* Перспективы развития концепции этнонациональной политики в Российской Федерации. М.: Изд-во «Привет», 2004.

*Тагаева Л.* «С точки зрения рационального человека, это шизофрения» // *Slon*. 28.11.2013. [[http://slon.ru/russia/s\\_tochki\\_zreniya\\_ratsionalnogo\\_cheloveka\\_eto\\_shizofreniya-1026438.xhtml](http://slon.ru/russia/s_tochki_zreniya_ratsionalnogo_cheloveka_eto_shizofreniya-1026438.xhtml)]. Дата доступа 21.03.2015.

*Суханек Л.* Понять Россию. Как поляк должен смотреть на Россию // *Россия — Польша: проблемы взаимного восприятия: Материалы Международной научной конференции (23–24 сентября 2011 года, МГУ им. М.В. Ломоносова) / Под ред. А.Ю. Шутова.* М.: Изд. Московского университета, 2013.

*Торбаков И.Б.* «Непредсказуемое» или «неопределенное» прошлое? Международные отношения и российская историческая политика // *Символическая политика: Сб. науч. тр. / РАН ИНИОН / Отв. ред.: Малинова О.Ю. Вып.1: Конструирование представлений о прошлом как властный ресурс.* М.: РАН ИНИОН, 2012, с. 91–125.

*Шнирельман В.* Президенты и археология, или Что ищут политики в древности // *Вестник Российской нации*, 2010, 1–2, с. 189–218.